**Фрагменты философских текстов по теме:**

**«Онтология и философия природы»**

**Мартин Хайдеггер. Преодоление метафизики.**

I. Что значит «преодоление метафизики»? Бытийно-историческая мысль применяет это обозначение лишь как вспомогательное для того, чтобы вообще сделать себя понятной. По существу оно дает повод для многих недоразумений; ибо оно не ведет понимание к той основе, в свете которой история бытия только и обнаруживает свою суть. Эта суть – событие, в которое всегда вплетено само бытие. Преодоление, прежде всего, не означает вытеснения определенной дисциплины из сферы философской «культуры». «Метафизика» мыслится все-таки как судьба истины сущего, т. е. его бытия в качестве пока еще потаенного, но исключительного события, а именно забывания Бытия.

Поскольку под преодолением подразумевают нечто устроенное философией, более уместным именованием могло бы быть; уход метафизики. Конечно, это вызывает новые ложные представления. Уход означает здесь: она прошла и стала былью. Уходя, метафизика есть как прошедшее. Уход не исключает, а наоборот, предполагает, что теперь метафизика впервые только и вступает в свое безраздельное господство среди самого сущего как это последнее в безыстинном образе действительности и предметности. В свете своего раннего начала метафизика прошла одновременно в том смысле, что пришла к концу. Конец может длиться дольше, чем вся предыдущая история метафизики.

II. От метафизики нельзя отделаться словно от некоего воззрения. Ее никоим образом невозможно оставить позади как учение, в которое уже никто не верит и за которое никто не стоит.

То, что человек как animal rationale, т. е. теперь – как трудящееся живое существо вынужден снова и снова пересекать в своих блужданиях пустыню земного опустошения, могло бы быть знаком того, что метафизика есть событие в самом бытии и преодоление метафизики совершается как превозмогание бытия. В самом деле, труд (ср. Эрнст Юнгер, «Трудящийся», 1932) достигает сейчас метафизического ранга абсолютного опредмечивания всего присутствующего, существо которого покоится в воле к воле.

Если это так, то мы зря воображаем, будто предчувствие конца метафизики позволяет нам встать вне ее. Ибо преодоленная метафизика не улетучивается. Она возвращается видоизмененной назад и остается у власти в качестве продолжающего править отличия бытия от сущего.

Закат истины сущего означает: явленность сущего и только сущего утрачивает прежнюю исключительность своего определяющего статуса.

III. Закат истины сущего совершается с необходимостью, а именно как завершение метафизики.

Закат происходит, во-первых, в виде крушения мира, запечатленного метафизикой, и, во-вторых, в виде исходящего от метафизики опустошения земли. Крушение и опустошение достигают соразмерной им полноты в том, что человек метафизики, animal rationale, упрочивается в статусе трудящегося животного.

Такое упрочение статуса утверждает крайнюю слепоту в отношении забвения бытия. Человек, однако, волит себя как добровольца воли к воле, для которого всякая истина становится, тем заблуждением, в котором он нуждается, чтобы обеспечить себе самообман насчет того, что воля к воле не может волить ничего другого, кроме ничтожного ничто, в противостоянии которому он себя утверждает, не умея заметить свою собственную законченную ничтожность.

Прежде чем сможет наступить событие Бытия в его изначальной истине, должно сперва надломиться бытие как воля, мир должен быть принужден к крушению, земля – к опустошению и человек – к пустому труду. Только после этого заката сбудется через долгое время внезапная тишина Начала. На закате все, т. е. то сущее в целом, о котором метафизика высказывает свои истины, идет к своему концу.

Закат уже состоялся. Следствие этого события – обстоятельства всемирной истории нашего столетия. Они обставляют собою уже просто лишь истекание законченного. Его протекание в духе последней стадии метафизики упорядочивается техникой историографии. Это упорядочение есть последняя организация законченного в видимость «действительности», дело которой действует неотвратимо, потому что оно настроилось обходиться без раскрытия существа бытия, причем с такой решительностью, что не нуждается ни в каких предчувствиях такого раскрытия.

Человечеству метафизики отказано в пока еще сокровенной истине бытия. Трудящееся животное оставлено дышать угаром своих достижений, чтобы оно растерзало само себя и уничтожилось в ничтожное ничто.

IV. Почему метафизика присуща природе человека?

При первом приближении человек в метафизическом представлении есть сущее среди другого сущего, снабженное способностями. Это таким-то образом устроенное существо, его «природа», «что» и «как» его бытия сами по себе метафизичны: animal (чувственность) – и rationale (внечувственное). Очерченный такими границами внутри метафизики, человек привязан к непонятому различию между сущим и бытием. Метафизически отчеканенный способ человеческого представления обнаруживает повсюду только метафизически устроенный мир. Метафизика присуща природе человека. Но что такое сама природа? Что такое сама метафизика? Кто такой, внутри этой природной метафизики, сам человек? Есть ли он простое Я, которое впервые по-настоящему утверждается в своем Я лишь через обращение к Ты, потому что существует в отношении Я к Ты?

Ego cogito, мыслящее Я, есть для Декарта то, что во всех cogitationes заранее уже представлено и установлено, – присутствующее, не вызывающее вопроса, несомненное, всегда заранее уже известное знанию, подлинно достоверное, прежде всего установленное, а именно как то, что ставит всё перед собой и тем противо-поставляет другому.

К предмету, «противо-поставленному», относится, во-первых, состав, «что» пред-стоящего (essentia-possibilitas) и, во-вторых, само пред-стояние противостоящего (existentia). Предмет есть это единство пред-стояния и состава. Состав в своем пред-стоянии сущностно отнесен к устанавливающей деятельности пред-ставления как удостоверяюще-обеспечивающего, планирующе-проектирующего процесса. Изначальный предмет есть само предстояние. Изначальное предстояние есть «я мыслю» в смысле «я воспринимаю», заранее пред-лежащее и предложившее себя всему воспринимаемому, ставшее для него субъектом (sub-iectum, пред-лежащим). Субъект в структуре трансцендентального генезиса предмета есть первый объект онтологического представления. Ego cogito есть cogito: me cogitare (Я мыслю есть мыслю себя мыслящим – лат.).

V. Новоевропейская форма онтологии – трансцендентальная философия, превращающаяся в теорию познания.

Почему в новоевропейской метафизике возникает такое? Потому что бытие сущего начинают мыслить как его присутствие для устанавливающего представления. Бытие есть теперь предметная противопоставленность. Вопрос о предметной противопоставленности, о возможности такого противо-поставления (а именно устанавливающему, рассчитывающему представлению) есть вопрос о познаваемости.

Но этот вопрос подразумевается, собственно, как вопрос не о физико-психическом механизме познавательного процесса, а о возможности присутствия предмета в познании и для него.

«Теория» такого «познания» есть рассмотрение, поскольку сущее, помысленное как предмет, исследуется в аспекте его предметного предстояния и обеспечения возможности такого предстояния.

В каком смысле Кант своей трансцендентальной постановкой вопроса обеспечивает метафизике Нового времени эту ее метафизичность? Поскольку истина становится достоверностью и собственная сущность сущего превращается в предстояние перед perceptio, восприятием, и cogitatio, со-ображением представляющего сознания, т. е. знания,– постольку знание и познание выдвигаются на передний план.

«Теория познания» и то, что таковой считается, есть в своей основе метафизика и онтология, стоящая на истине как на достоверности устанавливающе-обеспечивающего представления.

Напротив, истолкование «теории познания» как объяснения «познания» и «теории» науки сбивает с толку, хотя все эти устанавливающе-удостоверяющие хлопоты в свою очередь – лишь следствие перетолкования бытия в предметность и представленность.

Под рубрикой «теория познания» скрывается растущая принципиальная неспособность новоевропейской метафизики видеть свое собственное существо и его основание. Разговоры о «метафизике познания» увязают в том же недоразумении. По существу дело идет о метафизике предмета, т. е. сущего как предмета, объекта для некоего субъекта.

В наступлении логистики дает о себе знать просто оборотная сторона теории познания, ее эмпиристски-позитивистское перетолкование.

VI. Завершение метафизики начинается с гегелевской метафизики абсолютного знания как воли духа.

Почему эта метафизика есть лишь начало завершения, а не завершение? Разве безусловная достоверность не возвратилась к самой себе в качестве абсолютной действительности?

Есть ли здесь еще какая-то возможность превосхождения себя? Пожалуй, уже нет. Но пока еще не использована полностью возможность безусловного сворачивания всего в себе как в жизненной воле. Воля еще не явила себя как воля к воле внутри своей, ею подготовленной, действительности. Поэтому в гегелевской абсолютной метафизике духа метафизика еще не завершилась окончательно.

Вопреки пресной болтовне о крушении гегелевской философии остается в силе одно: в XIX столетии только эта философия определяла собой действительность, хотя и не в поверхностной форме общепринятого учения, но как метафизика, как господство бытия сущего в смысле удостоверенности. Противотечения, идущие против этой метафизики, послушны ей. Со смерти Гегеля (1831) всё – лишь противотечение. Не только в Германии, но в Европе.

VII. Метафизику отличает то, что сплошь да рядом existentia в ней если вообще рассматривается, то всегда лишь вкратце и как нечто само собой разумеющееся. (Ср. скупое пояснение постулатов действительности в кантовской «Критике чистого разума».) Единственное исключение составляет Аристотель, который продумывает «энергейю», при том что никогда с тех пор эта его мысль не смогла стать в своей изначальности значимой. Превращение аристотелевской энергии в actualitas и в действительность заслонило собою все, что приоткрылось, в энергии.

Связь между бытием и энергией затемняется. Лишь Гегель снова продумывает существование, existentia, но – в своей «Логике». Шеллинг осмысливает его через различение «основания» и «экзистенции», однако это различение коренится в субъективности.

В сужении бытия до «природы» слышится поздний и приглушенный отголосок бытия как фюсис. Природе противопоставляются разум и свобода. Коль скоро природа есть сущее, свобода и долженствование не мыслятся как бытие. Дело останавливается на противоположении бытия и долженствования, бытия и ценности. Наконец, когда воля приходит в свое крайнее не-истовство, само бытие становится простой «ценностью». Ценность мыслится как условие самоутверждения воли.

VIII. Метафизика во всех своих видах и на всех исторических ступенях есть особенный, но, возможно, также и неизбежный рок Запада и предпосылка его планетарного господства. Воля, волящая это господство, действует теперь обратным действием на средоточие Запада, из какового средоточия эту волю опять встречает тоже только воля. Развертывание безусловного господства метафизики стоит пока еще лишь у своего начала. Оно наступит, когда метафизика скажет «да» присущему ей не-истовству, отдаст ему и утвердит в нем свою истину. Метафизика есть рок в том строгом, здесь только и имеющемся в виду смысле, что она, будучи основной чертой западноевропейской истории, обрекает массы человечества на сущее без того, чтобы бытие сущего в качестве двусложности того и другого могло исходя из метафизики и ею когда-либо быть замечено, осмыслено и воспринято в своей истине. Этот рок, который надо мыслить бытийно-исторически, однако, неизбежен потому, что бытие только тогда и может просветлить в его истине хранимое им различие бытия и сущего, когда само это различие станет собственно событием. А как оно станет событием, если сущее сперва не будет охвачено крайним забвением бытия и одновременно бытие не приведет к своему, метафизически непостижимому, безусловному господству в качестве воли к воле, которая прежде всего дает о себе знать единственно через первенство сущего (предметно-действительного) над бытием? Так сам принцип различения, коренящийся в названном различии, выступает неким образом на передний план и все равно остается потаенным в странной нераспознаваемости. Оттого и различие тоже остается за завесой. Признак этого – метафизически-техническая реакция на боль, заранее предопределяющая одновременно истолкование существа боли. С началом завершения метафизики начинается не распознанная метафизикой и ей принципиально недоступная подготовка первого явления двусложности бытия и сущего. Пока еще таится в этом явлении ранний отзвук истины бытия, которая вбирает в себя первенство бытия как правящего.

IX. Преодоление метафизики мыслится бытийно-исторически.

Оно – предвестие начального превозмогания забвения бытия. Раньше, хотя и потаеннее, чем такое предвестие, – то, что являет себя в нем. Это – само событие. То, что для метафизического образа мысли выглядит как предвестие чего-то другого, дает о себе знать просто как последний отсвет более изначального света. Преодоление метафизики оказывается достойным делом мысли лишь в той мере, в какой мысль помнит о превозмогании забвения бытия. Та же неотступная мысль думает одновременно и о преодолении. Такая мысль-память осмысливает то единственное событие лишения сущего своей собственной сути, в котором просвечивает и прощально озаряет человеческое существо бедственное положение истины бытия, а тем самым и начало истины. Это пре-одоление есть пре-дание метафизики ее истине.

Сначала преодоление метафизики удается представить лишь исходя из самой метафизики как бы в виде некоего ее превосхождения ею же самой. В этом случае оправданно заходит речь о метафизике метафизики, затронутой в работе «Кант и проблема метафизики», когда там делается попытка в данном аспекте интерпретировать кантовскую мысль, отправляющуюся пока еще просто от критики рациональной метафизики. Правда, мысли Канта приписывается тем самым нечто большее, чем он сам мог иметь в виду в границах своей философии.

Разговоры о преодолении метафизики могут, далее, иметь еще и тот смысл, что название «метафизика» присваивается платонизму, выступающему перед современным миром в интерпретации Шопенгауэра и Ницше. Перевертывание платонизма, когда для Ницше чувственное становится соответственно истинным миром, а сверхчувственное неистинным, целиком остается еще внутри метафизики. Такого рода преодоление метафизики, какое имеет в виду Ницше, причем в смысле позитивизма XIX столетия, есть, хотя бы и в своем высшем превращении, лишь окончательное увязание в метафизике. Создается, конечно, видимость, будто «мета», трансцендирование в сверхчувственное, отменяется в пользу опоры на чувственно-вещественную стихию, в то время как на деле просто завершается забвение бытия и сверхчувственное разнуздывается и хозяйничает в виде воли к власти.

X. Воля к воле пресекает, будучи не в состоянии это знать и не допуская знания об этом, всякое следование Судьбе, под которой здесь понимается пред-назначение, исходящее от явленности бытия сущего. Воля к воле ожесточает все до неприступности судьбе. Следствием тому – бессобытийность. Ее признак – господство историографического представления. Тупик последнего – историзм. Если бы кто-то захотел дать себе отчет в истории бытия, следуя обычному сегодня историографическому представлению, то такой промах нагляднейшим образом подтвердил бы господство забвения бытия как события. Эпоха законченной метафизики стоит перед своим началом.

Воля к воле добивается – и это основная форма ее проявления – всеобщего расчета и упорядочения, но только ради безусловной возможности продолжать обеспечение самой себя. Основную форму проявления, в которой воля к воле соответственно организует и рассчитывает сама себя среди бессобытийности мира законченной метафизики, можно сжато назвать «техникой». Это название охватывает здесь все области сущего, из которых по-разному сооружается целое сущего: опредмеченную природу, устроенную культуру, подстроенную политику, надстроенные идеалы. «Техника» означает здесь, таким образом, не обособленные области машинного производства и технического вооружения. Последние, конечно, обладают заслуживающим более точного определения господствующим статусом, который опирается на первенство вещественного как якобы элементарно-стихийного и первоочередно предметного.

Название «техника» понимается здесь настолько сущностно, что в своем значении оно совпадает с рубрикой: законченная метафизика. В нем содержится воспоминание о греческой технэ, которая есть вообще одно из основных условий развертывания существа метафизики.

Это название позволяет также помыслить планетарность законченной метафизики и ее господство безотносительно к ее исторически прослеживаемым вариантам у разных народов и на разных континентах.

*Хайдеггер, М. Преодоление метафизики / Мартин Хайдеггер // Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993.*

**Хорхе Луис Борхес. Время.**

Ницше не любил, когда ставили рядом имена Гете и Шиллера. Добавим, что столь же непочтительно объединять пространство и время, тем более что мы можем абстрагироваться лишь от пространства, но не от времени.

Предположим, что вместо пяти чувств у нас есть лишь одно. Пусть это будет слух. Тогда исчезнет зрительный мир, то есть исчезнут небосвод, звезды... Так как мы лишимся осязания, исчезнет неровное, гладкое, шероховатое. Если мы потеряем также обоняние и вкус, пропадут локализованные в языке и в носу ощущения. Останется только слух. Тогда перед нами предстанет мир без пространства. Мир индивидуальностей. Индивидуальностей, которые могут общаться друг с другом. Может быть, их тысячи, может быть, миллионы, и общаются они посредством слов (ничто не мешает им выдумать язык такой же сложный, как наш, или еще сложнее) и посредством музыки. Это будет мир, в котором существуют лишь отдельные сознания и музыка. Заметим, что, хотя для музыки нужны музыкальные инструменты, это не значит, что без них музыка невозможна. Инструменты необходимы лишь для исполнения музыки. Вспомним какую-нибудь партитуру. Мы можем представить ее звучание без инструментов, без пианино, скрипок, флейт...

И этот мир, состоящий из индивидуальностей и музыки, не беднее нашего. Как сказал Шопенгауэр, музыка не является чем-то внешним по отношению к миру, музыка и есть мир. В этом мире у нас всегда будет время. Потому что время — это последовательность. Пусть каждый из нас представит, что он очутился в темной комнате. Тогда исчезнет видимый мир, исчезнет тело. Как часто мы не чувствуем своего тела! Например, сейчас, только сейчас, дотронувшись до стола рукой, я ощутил стол и руку. Но что-то должно происходить. Что? Быть может, наши восприятия, ощущения или же просто воспоминания и представления. Но все время что-то происходит. Я вспоминаю прекрасную строчку Теннисона в одном из ранних его стихов: «Time is flowing in the middle of the night» («время, струящееся в полночь»). Какой поэтический образ: весь мир спит, но бесшумная река времени (эта метафора неизбежна) струится по земле, под землей, в межзвездном пространстве.

Таким образом, время представляет собой сущностную проблему. Этим я хочу сказать, что от времени мы не можем абстрагироваться. Наше сознание постоянно переходит от одного состояния к другому, а это и есть время: последовательность. Кажется, Анри Бергсон сказал, что время является главной проблемой метафизики. Разрешив эту проблему, мы разрешили бы все загадки, но, к счастью, это нам не грозит. Мы вечно будем жаждать решения. Мы всегда сможем вслед за Святым Августином сказать: «Что такое время? Пока меня не спрашивают, я это знаю. А если спросят, я теряюсь».

Не знаю, насколько мы продвинулись в решении проблемы времени за двадцать — тридцать веков размышлений. Но мы и поныне ощущаем то древнее смущение, которое когда-то поразило Гераклита. Я снова и снова возвращаюсь к его изречению: никто не войдет дважды в одну и ту же реку. Почему никто никогда не войдет дважды в одну и ту же реку? Во-первых, потому что воды реки текучи. Во-вторых — и это метафизически затрагивает нас, пробуждая что-то вроде священного ужаса,— потому что мы сами подобны реке, мы также текучи.

В этом и состоит проблема времени. Это проблема текучести: время проходит. Я вспоминаю прекрасный стих Буало: время проходит в тот момент, когда что-то уже далеко от меня. Мое настоящее — или то, что было моим настоящим,— уже стало прошлым, но проходящее время не проходит всецело. Например, мы с вами беседовали в прошлый четверг. Можно сказать, что мы стали другими; ведь за неделю с нами произошло много разных событий. Но все-таки мы те же. Я знаю, что я выступал здесь, что я пытался рассуждать, а вы, наверное, помните, как вы слушали меня на прошлой неделе. Во всяком случае, это остается в памяти. Память индивидуальна. Мы во многом состоим из нашей памяти.

А память в значительной степени состоит из забвения.

Итак, мы поставили проблему времени. Возможно, мы сейчас не решим ее для себя, но мы можем сравнить предлагавшиеся решения. Самоё древнее из них принадлежит Платону, у которого его заимствовал Плотин, а затем и Святой Августин. Эта идея — одно из самых прекрасных изобретений человека. Я полагаю именно человека, но, если вы религиозны, вы, должно быть, думаете иначе. Это прекрасное изобретение — вечность. Что такое вечность? Вечность — не сумма всех наших вчера. Вечность — это все наши вчера, все вчера всех разумных существ. Все прошлое, все неизвестно когда начавшееся прошлое. И настоящее. Мгновение, охватывающее все города, все миры, межпланетное пространство. И наконец, будущее. Еще не сотворенное, но тоже существующее во времени.

Теологи считают вечность мгновением, в котором чудесным образом объединены эти разные времена. Воспользуемся словами Плотина, глубоко прочувствовавшего проблему времени. Плотин говорит: существуют три времени, и все три — настоящее. Одно — непосредственное настоящее, мгновение, когда я говорю. То есть мгновение, когда я говорил, ведь это мгновение уже относится к прошлому. Другое время — настоящее прошедшего, оно называется памятью. И третье — настоящее будущего, то, что видится нашим надеждам и страхам.

А теперь перейдем к тому решению, которое дал Платон; оно кажется произвольным, но я надеюсь показать вам, что это не так. Платон говорил, что время — текучий образ вечности. Он начинает с вечности, с Вечного Существа, желающего отразиться в других существах. Но в вечности это невозможно. Отражение должно осуществиться последовательно. Время становится текучим образом вечности. Как сказал великий английский мистик Уильям Блейк, «время — дар вечности». Если бы нам было даровано все бытие!.. Бытие больше вселенной, больше мира. Если бы нам лишь однажды показали все бытие, мы были бы раздавлены, сломлены, уничтожены. Мы бы погибли. Время — дар вечности. Вечность позволяет нам жить в последовательностях. У нас есть дни и ночи, часы и минуты, у нас есть память, есть сиюминутные ощущения, и, наконец, у нас есть будущее, будущее, которого мы еще не знаем, но предчувствуем или боимся.

Все это нам дано в последовательности, потому что мы не вынесли бы безмерной тяжести совокупного бытия вселенной. Таким образом, время становится для нас даром вечности. Вечность позволяет нам жить в последовательности. Шопенгауэр сказал, что, к счастью для нас, наша жизнь делится на дни и ночи, бодрствование прерывается сном. Утром мы встаем, проводим день, а потом засыпаем. Если бы не было сна, жизнь стала бы невыносимой. Мы не были бы хозяевами наших наслаждений. Целостность бытия для нас невыносима. Поэтому все, что нам предоставляется, дается постепенно.

Со схожими идеями связана концепция переселения душ. Возможно, как верят пантеисты, мы растворены во всех минералах, всех растениях, всех животных, всех людях. Но, к счастью, мы этого не знаем. К счастью, мы верим в индивидуальности. И если бы мы не были обмануты, эта цельность раздавила бы нас.

Перейдем к Святому Августину. Думаю, никто не прочувствовал проблему времени сильнее, чем он. Святой Августин говорит, что его душа жаждет узнать, что такое время. Он просит Бога ответить ему на этот вопрос. Не из пустого любопытства, но потому, что он не может жить иначе. Это становится для него сущностным вопросом, тем, что Бергсон назовет потом основной проблемой метафизики. Обо всем этом с жаром говорит Святой Августин.

Рассуждая сейчас о времени, вспомним пример, кажущийся очень простым,— один из парадоксов Зенона. Зенон относит свои парадоксы к пространству, мы применим их ко времени. Возьмем самый простой из всех — парадокс, или апорию, о движущемся. Движущийся предмет находится в одной точке стола и должен попасть в другую точку. Вначале ему необходимо покрыть половину пути, но перед тем — пересечь половину половины, а еще раньше — половину половины половины, и так до бесконечности. По Зенону, движущийся предмет никогда не переместится от одного края стола к другому. Наконец, мы можем обратиться к примеру из геометрии. В геометрии придумали точку. Считается, что точка не имеет никакой протяженности. Если же мы возьмем бесконечную последовательность точек, то это будет линия. Затем возьмем бесконечное количество линий и получим плоскость. Не знаю, до какой степени это доступно пониманию. Ведь если точка не имеет протяженности, непонятно, как может сумма хотя бы и бесконечного их числа дать нам протяженную линию. Говоря о линии, я не имею в виду прямую, соединяющую эту точку земли с луной. Я думаю, к примеру, о линии стола, до которого я дотрагиваюсь. В ней также бесконечное количество точек. Для всего этого было предложено объяснение.

Бертран Рассел объясняет это так. Существует финитное множество (натуральный ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так до бесконечности). Рассмотрим теперь другую последовательность, протяженностью вдвое меньше первой. Она состоит из четных чисел. Тогда 1 соответствует 2, 2—4, 3—6... Теперь возьмем еще одну последовательность. Выберем произвольное число. Например, 365. Пусть теперь 1 соответствует 365, 2—365 в квадрате, 3—365 в кубе. Мы получим несколько бесконечных последовательностей чисел. Так вот, в подобных трансфинитных множествах части не меньше целого. Насколько мне известно, эти идеи были приняты математиками, но я не понимаю, как им может поверить наше воображение.

Возьмем настоящее мгновение. Что такое настоящее мгновение? Это мгновение, в котором есть немного прошлого и немного будущего. Настоящее само по себе подобно финитной точке в геометрии. Настоящее само по себе не существует. Оно не является непосредственным восприятием нашего сознания. Итак, у нас есть настоящее, которое постоянно оборачивается то прошлым, то будущим. Существует два взгляда на время. Согласно одному из них, который, я думаю, разделяем все мы, время — река, текущая к нам от своего непостижимого начала. Иначе смотрит на время английский метафизик Джеймс Бредли. Бредли говорит, что происходит как раз обратное, что время течет из будущего в настоящее, а тот момент, в котором будущее становится прошлым, и есть то, что мы называем настоящим. Мы можем выбирать между двумя метафорами. Мы можем поместить истоки реки времени в будущее или в прошлое. Это все равно. В обоих случаях река будет течь. Но как разрешить проблему происхождения времени? Платон дал такой ответ: время берет начало в вечности. Однако это не значит, что вечность предшествует времени. Ведь сказать «предшествует» — значит сказать, что вечность относится ко времени. Ошибочно также полагать вслед за Аристотелем, что время — мера движения, потому что движение осуществляется во времени и не может его объяснить. Святой Августин однажды прекрасно сказал: «Non in tempore, sed cum tempore Deus creavit caela et terrain» («He во времени создал Бог небеса и землю, но Он наделил их временем»). Первые стихи Книги Бытия относятся не только к творению мира — творению морей, земли, мрака, света,— но и к началу времени. Раньше времени не было. Мир начал существовать, наделенный временем, и с тех пор все в нем происходит последовательно.

Не знаю, поможет ли нам идея трансфинитных множеств, которую я только что объяснил. Не знаю, свыкнется ли с этой идеей мое воображение, не знаю, свыкнется ли с ней ваше воображение. С идеей множеств, части которых были бы равны целому. Говоря о последовательности натуральных чисел, мы понимаем, что количество четных чисел равно количеству нечетных, и оно бесконечно. Мы понимаем, что количество степеней 365 равно количеству натуральных чисел. Почему бы нам не применить эту идею и к двум моментам времени? Почему не применить ее к 7 и 4 минутам, 7 и 5 минутам? Трудно поверить, что между этими двумя числами располагается бесконечная трансфинитная последовательность мгновений.

Однако Бертран Рассел хочет, чтобы мы представляли это себе именно так.

Бёрнхем сказал, что парадоксы Зенона основаны на уподоблении времени пространству, что в действительности существует лишь цельный жизненный порыв. Так, нельзя говорить, что в то время, как Ахиллес пробегает метр, черепаха пробегает дециметр, потому что при таких рассуждениях Ахиллес бежит сначала большими шагами, а затем шажками черепахи. То есть мы прикладываем ко времени пространственную мерку. Рассмотрим временной промежуток в пять минут. Чтобы прошло пять минут, необходимо, чтобы прошли две с половиной минуты, их половина, а для этого должна пройти и половина двух с половиной минут. Чтобы прошла эта половина, должна пройти половина половины и так до бесконечности. Пять минут никогда не кончатся. Так, с аналогичным результатом, апории Зенона прикладываются ко времени.

Возьмем также пример со стрелой. Зенон говорил, что стрела в полете в каждое мгновение неподвижна. Значит, движение невозможно: ведь сумма неподвижностей не может дать движение.

Но если мы сочтем пространство реально существующим, то можно в конце концов разделить его до точки, хотя бы процесс деления и был бесконечным. Если решить, что время реально существует, то можно разделить его на мгновения, на мгновения мгновений и так далее.

Посчитав мир созданием нашего воображения, решив, что каждый из нас в грезах создает свой мир, мы могли бы предположить, что наше мышление движется от одной мысли к другой и подразделений, о которых говорилось выше, не существует. Есть лишь то, что мы ощущаем, только наши эмоции, наше воображение. Это подразделение — не подлинное, воображаемое. Но бытует и другая общепринятая точка зрения, заключающаяся в представлении о единстве времени. Ее утвердил своим авторитетом Ньютон, но она была принята еще задолго до него. Когда Ньютон говорит о математическом времени — об одном-единственном времени, которое струится во вселенной,— он имеет в виду то время, которое и сейчас единообразно течет в пустоте, в межзвездном пространстве. Но английский метафизик Бред-ли заявил, что считать так у нас нет никаких оснований.

Можно предположить, что существуют разные временные последовательности, несоотносимые между собой, писал он. Возьмем одну из них и обозначим ее а, Ь, с, d, e, f... Члены ее соотносятся друг с другом: одно следует за другим, одно следует перед другим, одно одновременно другому. Мы могли бы придумать другую последовательность: альфа, бета, гамма... Можно придумать и многие другие последовательности.

Почему мы считаем время одной-единственной последовательностью? Не знаю, доступна ли нашему воображению идея, что существует множество времен и эти временные последовательности не соотносятся друг с другом, хотя их члены, разумеется, следуют друг за другом, друг перед другом и одновременно друг с другом. Это разные последовательности. Каждый из нас может себе это представить. Вспомним хотя бы о Лейбнице.

Дело в том, что жизнь каждого из нас есть не что иное, как последовательность событий, и разные последовательности могут быть параллельны или пересекаться. Почему мы должны принять эту идею? Возможно, она верна, и тогда даровала бы нам мир обширнее, необычнее того, в котором мы живем. Мысль, что не существует единого времени, мне кажется, была воспринята современной физикой, которую я не понимаю и не знаю. Это мысль о разных временах. С какой стати мы должны вслед за Ньютоном утверждать, что существует лишь одно время?

Вернемся теперь к теме вечности, к идее вечности, которая хочет каким-то образом проявиться и которая проявляется во времени и в пространстве. Вечность — мир архетипов. Так, в вечности не существует конкретных треугольников. Там имеется лишь один треугольник, который не будет ни равносторонним, ни равнобедренным, ни разносторонним. Этот треугольник — одновременно все три и ни один из них. То, что мы не можем себе представить этот треугольник, не имеет значения. Он существует.

Или же, к примеру, каждого из нас можно считать временной и смертной копией архетипа человека. Здесь перед нами встает еще одна проблема: у каждого ли человека есть свой платоновский архетип? Этот абсолют стремится проявить себя, и он проявляется во времени. Время — образ вечности.

Я думаю, это помогло бы нам понять, почему время последовательно. Время последовательно, потому что, выйдя из вечности, оно стремится вернуться к ней. Таким образом, идея будущего связана с нашим желанием вернуться к началу. Бог создал мир, и весь мир, вся сотворенная вселенная стремится вернуться к своему вечному источнику, лежащему не после времени или до него, но за его пределами. И это проявляется в жизненном порыве. Мы поняли также, почему время постоянно движется. Некоторые отрицают настоящее. Индийские метафизики утверждают, что нет мгновения, в которое падает плод. Плод вот-вот упадет или уже лежит на земле, но нет мгновения, в которое бы он падал.

Как парадоксально, что из трех времен, на которые мы делим время, из прошлого, настоящего и будущего, самым сложным, самым неуловимым оказывается настоящее! Настоящее неуловимо, как точка. Ведь если представить себе его без протяженности, оно окажется несуществующим. Мы должны представлять себе настоящее, которое было бы немного прошлым и немного будущим. Так чувствуется ход времени. Когда я говорю о ходе времени, то говорю о чем-то, что все мы чувствуем. Когда я говорю о настоящем времени, то говорю об абстрактной сущности. Настоящее не есть непосредственное восприятие нашего сознания.

Мы чувствуем, что скользим во времени, то есть можем представить себе, что движемся от будущего к прошлому или от прошлого к будущему. Но нам не дано остановить время, воскликнув вслед за Гете: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Настоящее не останавливается. Невозможно представить себе чистое настоящее. Оно было бы ничем. В настоящем всегда есть частица прошлого и частица будущего. Видимо, это необходимо для времени. В нашем жизненном опыте время всегда подобно реке Гераклита, мы постоянно вспоминаем это старое сравнение, как будто бы ничего не изменилось за столько веков, и по-прежнему остаемся Гераклитом, видящим в реке свое отражение и размышляющим о том, что река — не река, потому что вода изменилась, и сам он не Гераклит, потому что и он изменился с тех пор, как в последний раз смотрел на реку. Таким образом, мы и текучи, и постоянны, мы загадочны по своей сути. Кем был бы каждый из нас без своей памяти? Наша память во многом состоит из хлама, но в ней — суть человека. К примеру, чтобы быть тем, кто я есть, мне нет надобности вспоминать, что я жил в Палермо, Адроге, Женеве, в Испании. В то же время я должен чувствовать, что я не такой, какой был в тех местах, что я стал другим. Это проблема, которую мы никогда не сможем решить,— проблема изменчивого тождества. Может быть, достаточно самого слова «изменение». Ведь если говорить об изменении чего-то, это не значит, что оно было заменено другим. Когда мы говорим: растение растет, то не имеем в виду, что на месте данного растения выросло другое, больше его. Мы хотим сказать, что это растение становится другим. Это идея постоянства в изменчивом.

Представление о будущем должно было бы подтвердить старую мысль Платона, что время — текучий образ вечности. Если время образ вечности, то будущее должно быть движением души к грядущему. Грядущее, в свою очередь, будет возвращением к вечности. Наша жизнь становится тогда каждодневной агонией. Когда Святой Павел сказал: «Я умираю каждый день»,— это не было поэтическим образом. Истина в том, что мы каждый день умираем и вновь рождаемся. Поэтому время затрагивает нас больше, чем другие метафизические проблемы,— ведь они абстрактны. Проблема времени непосредственно касается всех нас. Кто я есть? Кто есть каждый из нас? Кто все мы? Возможно, когда-нибудь мы это и узнаем. А может, и нет. Пока же, как сказал Святой Августин, душа моя жаждет это познать.

*Борхес, Х.Л. Время / Х.Л. Борхес // Латинская Америка: литературная панорама. Выпуск 7; сост. и пер. Ю. Ванникова. − М.: Худ. лит., 1990.*

**Конрад Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества.**

*Глава 2. Перенаселение.*

В отдельном организме едва ли можно найти в нормальных условиях хоть один цикл с положительной обратной связью. Только жизнь в целом может предаваться этой крайности – пока, как может показаться, безнаказанно. Органическая жизнь выстроилась, как некая странная плотина, в поток рассеивающейся энергии вселенной, она «пожирает» отрицательную энтропию, захватывает энергию и растет за ее счет, а этот рост дает ей возможность захватывать все больше и больше энергии, и тем быстрее, чем больше она уже захватила. Если это не привело еще к чрезмерному разрастанию и катастрофе, то лишь потому, что безжалостные силы неорганической природы, законы вероятности удерживают размножение живых организмов в некоторых пределах, а также потому, что внутри отдельных видов выработались циклы регулирования. Как они действуют, мы увидим в следующей главе, где говорится об опустошении жизненного пространства Земли. Но в первую очередь надо обсудить безграничное возрастание числа людей, хотя бы потому, что очень многие явления, рассматриваемые в дальнейшем, вытекают из него.

Все блага, доставляемые человеку глубоким познанием окружающей природы, прогрессом техники, химическими и медицинскими науками, все, что предназначено, казалось бы, облегчить человеческие страдания, – все это ужасным и парадоксальным образом способствует гибели человечества. Ему угрожает то, что почти никогда не случается с другими живыми системами, – опасность задохнуться в самом себе. Ужаснее всего, однако, что в этом апокалипсическом ходе событий высочайшие и благороднейшие свойства и способности человека – именно те, которые мы по праву ощущаем и ценим как исключительно человеческие, – по-видимому, обречены на гибель, прежде всего. […]

Зачастую одна из главных забот жителя большого города – «Not to get emotionally involved». Но в этом неизбежном для нас всех образе действий чувствуется губительное дыхание бесчеловечности: он напоминает американских плантаторов старого времени, вполне человечно обращавшихся со своей негритянской «дворней», но рабов на плантациях рассматривавших в лучшем случае как ценный домашний скот. Если это намеренное отгораживание от человеческого общения заходит достаточно далеко, то в сочетании с обсуждаемым дальше притуплением чувств оно ведет к тем чудовищным проявлениям равнодушия, о которых мы каждый день читаем в газетах. Чем больше скопление людей, тем настоятельнее для каждого необходимость «not to get involved», и вот, именно в самых больших городах грабежи, убийства и насилия могут происходить теперь среди бела дня на самых оживленных улицах, не вызывая вмешательства «прохожих».

Дело не ограничивается тем, что скученность людей в тесном пространстве ведет к бесчеловечности косвенным образом – вследствие истощения и распада отношений между людьми: скученность самым непосредственным образом вызывает агрессивное поведение. Из множества опытов над животными известно, что скученность усиливает внутривидовую агрессию. Кто не был в лагере для военнопленных или другом принудительном сборище людей, едва ли может себе представить, насколько возрастает в таких условиях раздражимость от малейшего пустяка. И если пытаешься сдерживаться и вежливо, т. е. дружелюбно, обращаться с собратьями по виду, которые не являются твоими друзьями, но с которыми приходится ежедневно и ежечасно сталкиваться, – состояние это становится просто мучительным. Общее недружелюбие, наблюдаемое во всех больших городах, явно возрастает пропорционально плотности скопления людей в определенных местах. Например, на больших вокзалах или на автобусной станции в Нью-Йорке оно достигает устрашающей степени.

*Глава 3. Опустошение жизненного пространства*

Широко распространено заблуждение, будто «природа» неисчерпаема. Каждый вид животных, растений и грибов – поскольку к великому механизму природы принадлежат все три категории живых организмов – приспособлен к своему окружению, а к этому окружению относятся, само собой, не только неорганические составляющие данной местности, но и все другие населяющие ее живые существа. Итак, все организмы данного жизненного пространства приспособлены друг к другу. Это относится и к тем из них, которые на первый взгляд друг другу враждебны, как, например, хищник и его добыча, пожирающий и пожираемый. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что эти организмы, рассматриваемые как виды, а не как индивиды, не только не вредят друг другу, но часто даже объединены общностью интересов. Совершенно ясно, что пожиратель жизненно заинтересован в дальнейшем существовании вида, служащего ему добычей, будь то животное или растение. […]

Экологическая среда человека меняется во много раз быстрее, чем у всех других живых существ. Темп этого изменения обусловлен непрерывным развитием техники, ускоряющимся в геометрической прогрессии. Поэтому человек не может не вызывать глубоких изменений и – слишком часто – полного разрушения биоценозов, в которых и за счет которых он живет. Исключение составляют лишь очень немногие «дикие» племена, например некоторые индейцы девственных лесов Южной Америки, живущие собирательством и охотой, или обитатели некоторых океанических островов, немного занимающиеся земледелием, а в основном питающиеся кокосовыми орехами и дарами моря. Такие культуры влияют на свой биотоп не больше, чем популяции какого-либо вида животных. Это один теоретически возможный способ жизни человека в равновесии со своим биотопом, другой же состоит в том, что человек, как земледелец и скотовод, создает новый, полностью приспособленный к своим потребностям биоценоз, который в принципе может длительно существовать точно так же, как и возникший без его участия. Так обстоит дело во многих старых земледельческих культурах, где люди живут в течение многих поколений на одной и той же земле, любят ее и возвращают ей то, что от нее получают, пользуясь своими основательными, почерпнутыми из практики экологическими знаниями. […]

Цивилизованное человечество готовит себе экологическую катастрофу, слепо и варварски опустошая окружающую и кормящую его живую природу. Когда оно почувствует экономические последствия, то оно, возможно, осознает свои ошибки, но весьма вероятно, что тогда уже будет поздно. […] Неудивительно, что распространение цивилизации сопровождается столь прискорбным изуродованием города и деревни. Достаточно сравнить с открытыми глазами старый центр любого немецкого города с его современной окраиной или эту позорную для культуры окраину, быстро вгрызающуюся в окружающую землю, с еще не захваченными ею местами. Сравните затем гистологическую картину любой здоровой ткани с картиной злокачественной опухоли: вы обнаружите поразительные аналогии! Если это впечатление выразить объективно и перевести с языка эстетики на язык науки, то в основе этих различий лежит потеря информации.

Клетка злокачественной опухоли отличается от нормальной прежде всего тем, что она лишена генетической информации, необходимой для того, чтобы быть полезным членом сообщества клеток организма. Она ведет себя поэтому как одноклеточное животное или, точнее, как молодая эмбриональная клетка. Она не обладает никакой специальной структурой и размножается безудержно и бесцеремонно, так что опухолевая ткань, проникая в соседние, еще здоровые ткани, врастает в них и разрушает их. Бросающиеся в глаза аналогии между картинами опухоли и городской окраины основаны на том, что в обоих случаях здоровые пространства «застраивались» по многочисленным, очень различным, но тонко дифференцированным и дополняющим друг друга планам, мудрая уравновешенность которых достигалась благодаря информации, накопившейся в процессе длительного исторического развития, между тем как пространства, опустошенные опухолью или современной техникой, заполнены немногими крайне упрощенными конструкциями. Гистологическая картина совершенно однородной, структурно бедной опухолевой ткани до ужаса напоминает аэрофотографию современного городского предместья с его унифицированными домами, которые, недолго думая, в спешке конкуренции проектируют культурно нищие архитекторы. Бег человечества наперегонки с самим собой, описываемый в следующей главе, оказывает губительное воздействие на строительство жилищ. Не только коммерческие соображения, заставляющие использовать более дешевые в массовом изготовлении стандартные блоки, но и все нивелирующая мода приводят к тому, что во всех пригородах всех цивилизованных стран возникают сотни тысяч массовых жилищ, различимых друг от друга лишь номерами и не заслуживающих имени «домов», так как в лучшем случае – это нагромождения стойл для человеческого скота (Nutzmenschen), если дозволено ввести такой термин по аналогии с «домашним скотом» (Nutztiere). […]

Эстетическое и этическое чувства теснейшим образом связаны друг с другом, и, разумеется, у людей, вынужденных жить в только что описанных условиях, атрофируется и то и другое. Для духовного и душевного здоровья человека необходимы красота природы и красота созданной человеком культурной среды. Всеобщая душевная слепота к прекрасному, так быстро захватывающая нынешний мир, представляет собой психическую болезнь, и ее следует принимать всерьез уже потому, что она сопровождается нечувствительностью к этическому уродству.

*Глава 4. Бег наперегонки с самим собой*

[…] «Homo homini lupus» – человек человеку хищник – это тоже «understatement», как и знаменитое изречение Гейнрота. Человек, ставший единственным фактором отбора, определяющим дальнейшее развитие своего вида, увы, далеко не так безобиден, как хищник, даже самый опасный. Соревнование человека с человеком действует, как ни один биологический фактор до него, против «предвечной силы благотворной», и разрушает едва ли не все созданные ею ценности холодным дьявольским кулаком, которым управляет одни только слепые к ценностям коммерческие расчеты.

Под давлением соревнования между людьми уже почти забыто все, что хорошо и полезно для человечества в целом и даже для отдельного человека. Подавляющее большинство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что лучше помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого средство обманчивым образом представляется ценностью само по себе Гибельное заблуждение утилитаризма можно определить как смешение средства с целью. Деньги в своем первоначальном значении были средством, это еще знает повседневный язык – говорят, например: «У него ведь есть средства». Много ли, однако, осталось в наши дни людей, вообще способных понять вас, если вы попытаетесь им объяснить, что деньги сами по себе не имеют никакой цены? Точно так же обстоит дело со временем, для того, кто считает деньги абсолютной ценностью, изречение «Time is money» означает, что и каждая секунда сбереженного времени сама по себе представляет ценность. Если можно построить самолет, способный перелететь через Атлантический океан немного быстрее предыдущих, то никто не спрашивает, какую цену за это придется уплатить в виде удлинения посадочных полос, возрастания скорости посадки и взлета и, вследствие этого, увеличения опасности, усиления шума и т д. Выигрыш в полчаса оказывается в глазах всего света самостоятельной ценностью, ради которой никакая жертва не может быть слишком велика. Каждый автомобильный завод должен заботиться о том, чтобы новый тип машины имел несколько большую скорость, и вот приходится расширять вое улицы, закруглять все повороты, якобы для большей безопасности, а в действительности лишь для того, чтобы можно было ездить еще немного быстрее – и поэтому с большей опасностью.

Возникает вопрос, что больше вредит душе современного человека ослепляющая жажда денег или изматывающая спешка. Во всяком случае, власть имущие всех политических направлений заинтересованы в том и другом, доводя до гипертрофии мотивы, толкающие людей к соревнованию. Насколько мне известно, эти мотивы еще не изучались с позиций глубинной психологии, но я считаю весьма вероятным, что, наряду с жаждой обладания и более высокого популяционного ранга, или с тем и другим, важнейшую роль здесь играет страх – страх отстать в беге наперегонки, страх разориться и обеднеть, страх принять неверное решение и не справиться с изматывающей ситуацией. Страх во всех видах является, безусловно, важнейшим фактором, подрывающим здоровье современного человека, вызывающим у него повышенное артериальное давление, сморщивание почек, ранние инфаркты и другие столь же прекрасные переживания. Человек спешит, конечно, не только из алчности, никакая приманка не могла бы побудить его столь энергично вредить самому себе; спешит он потому, что его что-то подгоняет, а подгонять его может только страх.

Боязливая спешка и торопливый страх в значительной мере повинны в потере человеком своих важнейших качеств. Одно из них рефлексия. Как я уже говорил в работе «Innate Bases of Learning», весьма вероятно, что в загадочном процессе становления человека решающую роль сыграл тот момент, когда существо, любознательно исследовавшее окружающий мир, увидело вдруг в поле своего исследования самого себя. ... Существо, еще не знавшее о собственном существовании, никоим образом не могло развить отвлеченное мышление, словесный язык, совесть и ответственную мораль. Существо, перестающее рефлектировать, подвергается опасности потерять все эти свойства и способности, специфические для человека. […]

Итак, люди страдают от нервных и психических нагрузок, которые им навязывает бег наперегонки со своими собратьями. И хотя их дрессируют с самого раннего детства, приучая видеть прогресс во всех безумных уродствах соревнования, как раз самые прогрессивные из них яснее всех выдают своим взглядом подгоняющий их страх, и как раз самые деловые, старательнее всех «идущие в ногу со временем» особенно рано умирают от инфаркта.

Если даже сделать неоправданно оптимистическое допущение, что перенаселение Земли не будет дальше возрастать с нынешней угрожающей быстротой, то, надо полагать, экономический бег человечества наперегонки с самим собой и без того достаточен, чтобы его погубить. Каждый циклический процесс с положительной обратной связью рано или поздно ведет к катастрофе, а в описываемом здесь ходе событий содержится несколько таких процессов Кроме коммерческого внутривидового отбора на все ускоряющийся темп работы действует и другой опасный циклический процесс, описанный в нескольких книгах Вэнсом Паккардом, – процесс, ведущий к постоянному возрастанию человеческих потребностей. […]

Дьявольский круг, в котором сцеплены друг с другом непрерывно нарастающие производство и потребление, вызывает к жизни явления роскоши, а это рано или поздно приведет к пагубным последствиям все западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты; в самом деле, их население не выдержит конкуренции с менее изнеженным и более здоровым населением стран Востока. Поэтому капиталистические господа поступают крайне близоруко, продолжая придерживаться привычного образа действий, т. е. вознаграждая потребителя повышением «уровня жизни» за участие в этом процессе и «кондиционируя» его этим для дальнейшего, повышающего кровяное давление и изматывающего нервы бега наперегонки с ближним.

*Глава 5. Тепловая смерть чувства*

У всех живых существ, способных к образованию условных реакций классического павловского типа, этот процесс может вызываться двумя противоположными по своему действию видами стимулов: во-первых, приучающими стимулами (reinforcement), усиливающими предшествующее поведение, во-вторых, отучающими (deconditioning, extinguishing), ослабляющими или вовсе тормозящими его. У человека действие стимулов первого рода связано с чувством удовольствия, второго – с чувством неудовольствия, и вряд ли мы впадем в слишком грубый антропоморфизм, если также и в применении к высшим животным будем кратко называть эти процессы вознаграждением и наказанием. […]

Приучение к некоторой форме поведения посредством подкрепляющего вознаграждения всегда побуждает организм мириться с неудовольствием в настоящем ради удовольствия в будущем или – на объективном языке – не реагировать на такие стимулирующие ситуации, которые без предшествующего обучения произвели бы отталкивающее и отучающее воздействие. Организм не может себе позволить платить цену, которая не «окупается». Полярной зимой волк принимает в расчет погоду и не рискует выходить на охоту в холодные ветреные ночи, чтобы не поплатиться за еду отмороженными лапами. Возможны, однако, обстоятельства, при которых такой риск оправдан, например, когда хищнику грозит голодная смерть, и он вынужден поставить все на карту, чтобы выжить.

Противостоящие друг другу принципы вознаграждения и наказания, удовольствия и неудовольствия нужны, таким образом, чтобы взвешивать соотношения между ожидаемым благом и требуемой за него ценой; это однозначно подтверждается тем, что интенсивность того и другого колеблется в зависимости от экономического положения организма. […]

Еще в незапамятные времена мудрейшие из людей осознали, что, если человек очень уж успешно следует своему инстинктивному стремлению получать удовольствие и избегать неудовольствия, это никак не идет ему на пользу. Развитие современной технологии, и прежде всего фармакологии, как никогда прежде поощряет общечеловеческое стремление избегать неудовольствий. Современный «комфорт» стал для нас чем-то само собою разумеющимся до такой степени, что мы не сознаем уже, насколько от него зависим. Самая скромная домашняя работница возмутилась бы, если бы ей предложили комнату с таким отоплением, освещением, удобствами для сна и умывания, которые вполне устраивали тайного советника фон Гёте или даже саму герцогиню Анну Амалию Веймарскую. Когда несколько лет назад в Нью-Йорке из-за крупной аварии системы управления выключился на несколько часов электрический ток, многие всерьез уверовали, что наступил конец света. Даже те из нас, кто тверже всех убежден в преимуществах доброго старого времени и в воспитательной ценности спартанского образа жизни, пересмотрели бы свои взгляды, если бы им пришлось подвергнуться обычной 2000 лет назад хирургической операции.

Все более овладевая окружающим миром, современный человек неизбежно сдвигает «конъюнктуру» своей экономии удовольствия-неудовольствия в сторону постоянного обострения чувствительности ко всем ситуациям, вызывающим неудовольствие, и столь же постоянного притупления чувствительности ко всякому удовольствию. А это по ряду причин ведет к пагубным последствиям.

Возрастающая нетерпимость к неудовольствию – в сочетании с убыванием притягательной силы удовольствия – ведет к тому, что люди теряют способность вкладывать тяжелый труд в предприятия, сулящие удовольствие лишь через долгое время. Отсюда возникает нетерпеливая потребность в немедленном удовлетворении всех едва зародившихся желаний. Эту потребность в немедленном удовлетворении (instant gratification), к сожалению, всячески поощряют производители и коммерческие предприятия, а потребители удивительным образом не видят, как их порабощают «идущие им навстречу» фирмы, торгующие в рассрочку.

По легко понятным причинам принудительная потребность в немедленном удовлетворении приводит к особенно вредным последствиям в области полового поведения. Вместе с потерей способности преследовать отдаленную цель исчезают все более тонко дифференцированные формы поведения при ухаживании и образовании пар – как инстинктивные, так и культурно запрограммированные, т. е. не только формы, возникшие в истории вида с целью сохранения парного союза, но и специфически человеческие нормы поведения, выполняющие аналогичные функции в рамках культуры. Вытекающее отсюда поведение – восхваляемое и возводимое в норму во множестве современных фильмов немедленное спаривание – было бы неправильно называть «животным», поскольку у высших животных нечто подобное встречается лишь в виде редчайшего исключения; вернее уж было бы назвать такое поведение «скотским», понимая под «скотом» домашних животных, у которых для удобства их разведения все высокодифференцированные способы поведения при образовании пар устранены человеком в ходе искусственного отбора.

Поскольку механизму удовольствия-неудовольствия, как уже было сказано, свойственна инерция и тем самым образование контраста, преувеличенное стремление любой ценой избежать малейшего неудовольствия неизбежно влечет за собой исчезновение определенных форм удовольствия, в основе которых лежит именно контраст. Как говорится в «Кладоискателе» Гете, «веселым праздникам» должны предшествовать «тяжкие недели»; этой старой мудрости угрожает забвение. И прежде всего болезненное уклонение от неудовольствия уничтожает радость. Гельмут Шульце указал на примечательное обстоятельство: ни слово, ни понятие «радость» не встречаются у Фрейда. Он знает наслаждение, но не радость. Когда, говорит Шульце, человек взбирается вспотевший и усталый, с ободранными пальцами и ноющими мускулами, на вершину труднодоступной горы, собираясь сразу же приступить к еще более утомительному и опасному спуску, то во всем этом, вероятно, нет наслаждения, но есть величайшая радость, какую можно себе представить. Во всяком случае, наслаждение можно еще получить, не расплачиваясь за него ценой неудовольствия в виде тяжкого труда, но прекрасная божественная искра Радости дается только этой ценой. Все возрастающая в наши дни нетерпимость к неудовольствию превращает возникшие по воле природы вершины и бездны человеческой жизни в искусственно выровненную плоскость, из величественных гребней и провалов волн она делает едва ощутимую зыбь, из света и тени – однообразную серость. Короче, она создает смертную скуку.

*Глава 7. Разрыв с традицией*

В развитии каждой человеческой культуры обнаруживаются замечательные аналогии с историей развития вида. Кумулирующая традиция лежащая в основе развития всей культуры, строится на функциях, новых по своему существу, не свойственных ни одному виду животных, и прежде всего на отвлеченном мышлении и словесном языке, доставивших человеку способность образовывать свободные символы и тем самым небывалую до того возможность распространять и передавать индивидуально приобретенное знание. Возникшее отсюда «наследование приобретенных свойств», в свою очередь, привело к тому, что историческое развитие культуры происходит на много порядков быстрее, чем филогенез любого существующего вида.

Процессы, с помощью которых культура приобретает новое знание, способствующее сохранению системы, а также процессы, позволяющие хранить это знание, отличны от тех, какие встречаются при изменении видов. Но метод выбора из многообразного данного материала того, что подлежит сохранению, в обоих случаях явно один и тот же: это отбор после основательного испытания. […]

При более внимательном рассмотрении, однако, обнаруживается, что величайшая консервативность в сохранении однажды испытанного принадлежит к числу жизненно необходимых свойств аппарата традиции, осуществляющего в развитии культуры ту же функцию, какую геном выполняет в изменении видов. Сохранение не просто так же важно, но гораздо важнее нового приобретения, и нельзя упускать из виду, что без специально направленных на это исследований мы вообще не в состоянии понять, какие из обычаев и нравов, переданных нам нашей культурной традицией, представляют собой ненужные, устаревшие предрассудки и какие – неотъемлемое достояние культуры. […]

Заблуждение, будто лишь рационально постижимое или даже лишь научно доказуемое доставляет прочное достояние человеческого знания, приносит гибельные плоды. Оно побуждает «научно просвещенную» молодежь выбрасывать за борт бесценные сокровища мудрости и знания, заключенные в традициях любой старой культуры и в учениях великих мировых религий. Кто полагает, что всему этому грош цена, закономерно впадает и в другую столь же гибельную ошибку, считая, что наука конечно же может создать всю культуру со всеми ее атрибутами чисто рациональным путем из ничего. Это почти так же глупо, как мнение, будто мы уже достаточно знаем, чтобы как угодно «улучшить» человека, переделав человеческий геном. Ведь культура содержит столько же «выросшего», приобретенного отбором знания, сколько животный вид, а до сих пор, как известно, не удалось еще «сделать» ни одного вида!

Эта чудовищная недооценка нерациональных знаний, заключенных в сокровищах культуры, и столь же чудовищная переоценка знании, которые человек сумел составить с помощью своего ratio в качестве homo faber, не являются, впрочем, ни единственными, ни тем более решающими факторами, угрожающими гибелью нашей культуре. У надменного просвещения нет причин выступать против унаследованной традиции с такой резкой враждебностью. В крайнем случае оно должно было бы относиться к ней, как биолог к старой крестьянке, настойчиво уверяющей его, что блохи возникают из опилок, смоченных мочой. Однако установка значительной части нынешнего молодого поколения по отношению к поколению их родителей не имеет в себе ничего от подобной мягкости, а преисполнена высокомерного презрения. Революцией современной молодежи движет ненависть, я притом ненависть особого рода, ближе всего стоящая к национальной ненависти, опаснейшему и упорнейшему из всех ненавистнических чувств. Иными словами, бунтующая молодежь реагирует на старшее поколение так же, как некоторая культурная или «этническая» группа реагирует на чужую группу, враждебную ей. […]

Каждая достаточно четко выделенная культурная группа стремится и в самом деле рассматривать себя как замкнутый в себе вид – настолько, что членов других сравнимых сообществ не считают полноценными, людьми. В очень многих туземных языках собственное племя обозначается попросту словом «человек». Тем самым лишение жизни члена соседнего племени не рассматривается как настоящее убийство!

Тот факт, что нынешнее младшее поколение, несомненно, начинает рассматривать старшее как чужой псевдовид, вызывает глубокое беспокойство. Бунтующая молодежь стремится также как можно дальше отойти от поколения родителей в своих обычаях и нравах; традиционное поведение старших не просто игнорируют, но замечают в малейших деталях и во всем поступают наоборот. […]

Точно так же, бессознательно и эмоционально, старшее поколение понимает эти мнимые протесты как то, чем они являются на самом деле, – как исполненные ненависти воинственные выкрики и брань. Так возникает быстрая и опасная эскалация ненависти, которая по существу своему – как уже было сказано – родственна национальной ненависти, т. е. ненависти между различными этническими группами. При таких условиях возможность взаимопонимания становится минимальной. […]

Однако расстройства, ведущие к ненависти и войне между поколениями, имеют другие причины, и притом двоякого рода. Во-первых, требуемые приспособительные изменения культурного наследия становятся от поколения к поколению все больше. Во времена Авраама, изменения в нормах поведения, унаследованных от отца, были столь незначительны, что – как это убедительно изобразил Томас Манн в своем чудесном психологическом романе «Иосиф и его братья» – многие из тогдашних людей вообще не были в состоянии отделить собственную личность от личности отца, и, следовательно, отождествление происходило самым совершенным способом, какой можно себе представить. В наше время, при темпе развития, навязанном нынешней культуре ее техникой, критически настроенная молодежь справедливо считает устаревшей весьма значительную часть традиционного достояния, все еще хранимого старшим поколением. И тогда описанное выше заблуждение, будто человек способен произвольным и рациональным образом выстроить на голом месте новую культуру, приводит к совсем уже безумному выводу, что родительскую культуру лучше всего полностью уничтожить, чтобы приняться за «творческое» строительство новой. Это и в самом деле можно было бы сделать, но только заново начав с до-кроманьонских людей! […]

Одно из величайших преступлений псевдодемократической доктрины состоит в том, что она изображает естественный ранговый порядок между двумя людьми как фрустрирующее препятствие для любых теплых чувств, без рангового порядка не может существовать даже самая естественная форма человеческой любви, соединяющая в нормальных условиях членов семьи; в результате воспитания по пресловутому принципу «non-frustration» тысячи детей были превращены в несчастных невротиков. […]

Эмоциональное возбуждение тормозит разумное действие, гипоталамус блокирует кору. Ни к какой самой извращенной эмоции это не относится в такой степени, как к коллективной, этнической ненависти, которую мы слишком хорошо знаем под именем национальной. Надо понять, что ненависть младшего поколения к старшим имеет тот же источник. Ненависть действует хуже, чем всеобщая слепота или глухота, потому что она извращает и обращает в свою противоположность любое полученное сообщение. Что бы вы ни сказали бунтующей молодежи, чтобы помешать ей разрубить ее собственное важнейшее достояние, можно предвидеть, что вас обвинят в ухищрениях с целью поддержать ненавистный «establishment». Ненависть не только ослепляет и оглушает, но и невероятно оглупляет. Тем, кто вас ненавидит, трудно будет оказать благодеяние, в котором они нуждаются. Трудно будет доказать им, что возникшее в ходе культурного развития так же незаменимо и так же достойно благоговения, как возникшее в истории вида, трудно будет внушить им, что культуру можно погасить, как пламя.

*Глава 8. Индоктринируемость*

Мой учитель Оскар Гейнрот, естествоиспытатель до мозга костей и записной насмешник над гуманитарными науками, имел обыкновение говорить: «То, что думают, по большей части ошибочно, но что знают, то уж верно». Эта гносеологически невинная фраза превосходно выражает ход развития всякого человеческого знания, а быть может, и всякого знания вообще. Вначале «что-то думают», потом сравнивают это с опытом и с поступающими в дальнейшем чувственными данными, чтобы затем из совпадения или несовпадения заключить, верно или неверно «то, что думали». Это сравнение между внутренней, каким-то образом возникающей в организме закономерностью и другой закономерностью, существующей во внешнем мире, является, вероятно, важнейшим из методов, с помощью которых живой организм приобретает познания. […]

Иногда считают – заблуждение это распространено также и среди специалистов по теории познания, – будто гипотеза может быть окончательно опровергнута одним или несколькими фактами, которые с ней не удается согласовать. Если бы это было так, то все существующие гипотезы были бы опровергнуты, потому что вряд ли найдется среди них хоть одна, согласная со всеми относящимися к ней фактами. Любое наше познание представляет собой лишь приближение – хотя и последовательно улучшаемое приближение – к внесубъективной действительности, которую мы стремимся познать. Гипотеза никогда не опровергается единственным противоречащим ей фактом; опровергается она лишь другой гипотезой, которой подчиняется большее число фактов. Итак, «истина» есть рабочая гипотеза, способная наилучшим образом проложить путь другим гипотезам, которые сумеют объяснить больше.

Однако наше мышление и наше чувство не могут подчиниться этому теоретически бесспорному положению вещей. Как бы мы ни старались не упускать из виду, что все наше знание, все, о чем говорит наше восприятие внесубъективной действительности, представляет собой лишь грубо упрощенную, приближенную картину существующего «в себе», мы все же не можем помешать себе считать некоторые вещи попросту верными и быть убежденными в абсолютной правильности этого знания. […]

Есть целый ряд теорий, проверенных, по-видимому, до границ возможной достоверности, в которые я «верю» в том же смысле, что и в принципы классической механики. Так, например, я твердо убежден в правильности так называемой коперниканской картины мира; я был бы ко меньшей мере беспредельно поражен, если бы оказалась правильной пресловутая теория пустотелого мира или если бы планеты, как полагали во времена Птолемея, ползали все-таки по небесному потолку, описывая причудливые эпициклические петли.

Есть, однако, и такие вещи, в которые я верю столь же твердо, как в доказанные теории, хотя у меня нет ни малейшего доказательства правильности моего убеждения. Я верю, например, что Вселенная управляется единой системой не противоречащих друг другу законов природы, которые никогда не нарушаются. Убеждение это, имеющее лично для меня прямо-таки аксиоматический характер, исключает сверхъестественные события; иными словами, все явления, описанные парапсихологами и спиритами, я считаю самообманом. Мнение это совершенно ненаучно – ведь сверхъестественные процессы могли бы быть, во-первых, очень редкими, а во-вторых, незначительными по своим масштабам, и то обстоятельство, что я никогда не сталкивался с ними лицом к лицу, не дает мне, разумеется, никакого права высказываться об их существовании или несуществовании. Я признаю моей чисто религиозной верой, что есть лишь одно великое чудо и нет никаких чудес во множественном числе или, как это выразил поэт-философ Курд Ласвиц, что Богу незачем творить чудеса.

Как я уже сказал, эти убеждения – и научно обоснованные, и эмоциональные – феноменологически тождественны вере. Чтобы найти для своего стремления к познанию хотя бы по видимости прочное основание, человек необходимым образом должен принять некоторые положения в качестве твердо установленных истин, «подставив» их, как архимедовы точки опоры, под конструкцию своих умозаключений. При построении гипотезы сознательно исходят из фикции, будто такая подстановка надежна, и «поступают так, как если бы» гипотеза была верна, чтобы посмотреть, что из этого получится. И чем дольше удается строить на таких фиктивных архимедовых точках опоры внутренне непротиворечивое и неразваливающееся сооружение, тем вероятнее становится, по принципу взаимного прояснения, безумно смелое вначале допущение, что гипотетически выбранные архимедовы точки опоры соответствуют действительности. […]

Но все эти воздействия, укрепляющие наши убеждения, могут, к сожалению, происходить и без только что упомянутых оправданий.

Требуется самокритика, а также богатая творческая фантазия, чтобы не впасть в ошибку, обесценивающую гипотезу в качестве рабочей гипотезы, сколь бы она ни была «плодотворной» в поставке «информации» – в том смысле, как это слово понимается в теории информации. Иначе гипотеза не приносят больше нового познания или приносит его лишь в виде исключения.

Точно так же доверие к слову учителя, сколь бы оно ни было ценно при основании новой «школы», т. е. нового направления исследований, влечет за собой опасность образования доктрины. Великий гений, открывший новый принцип объяснения, склонен, как известно, переоценивать широту области его применимости. Это делали Жак Лёб, Иван Петрович Павлов, Зигмунд Фрейд и многие другие из самых великих людей. Если еще вдобавок теория слишком пластична и мало стимулирует опровержение, то это вместе с почтением к учителю может привести к тому, что ученики превращаются в последователей, а школа – в религию и культ, как это произошло во многих местах с учением Зигмунда Фрейда.

Однако решающий шаг, ведущий к образованию доктрины в узком смысле слова, состоит в том, что к двум только что рассмотренным факторам, укрепляющим теорию до превращения ее в убеждение, прибавляется еще слишком большое число ее сторонников. В наши дни возможности распространения, доставляемые подобному учению так называемыми средствами массовой информации – газетами, радио и телевидением, – очень легко приводят к тому, что учение, представляющее собой не более чем непроверенную научную гипотезу, становится не только общенаучным, но и просто общественным мнением.

Доктрину защищают с тем же упрямством, с той же горячностью, какие были бы уместны, если бы надо было спасти от гибели испытанную мудрость, просветленное отбором знание старой культуры. Всякого несогласного с ходячим мнением клеймят как еретика, осыпают клеветой и, насколько возможно, дискредитируют. На него обрушивается в высшей степени специфическая реакции «mobbing», общественной ненависти и травли. […]

Самый неотразимый метод, позволяющий манипулировать большими массами людей, унифицируя их устремления, доставляет мода.

В своей первоначальной функции мода оказывает, вероятно, стабилизирующее, консервативное влияние на развитие культуры. Ее законы диктовались патрициями и аристократами. Как показал Отто Кениг, в истории мундиров старые, восходящие еще к рыцарским временам особенности одежды, давно уже исчезнувшие в мундирах рядовых, сохранялись еще очень долго в качестве знаков различия у офицеров высоких и наивысших рангов. Когда стали заметны описанные выше явления неофилии, оценка унаследованного в области моды начала применяться с обратным знаком. Отныне для больших человеческих масс стало признаком высокого ранга маршировать в первых рядах последователей всех «современных» новшеств. Само собою разумеется, в интересах крупных фирм было укрепить общественное мнение, считающее такое поведение «прогрессивным» и даже патриотическим. Прежде всего им удалось, по-видимому, убедить широкие массы потребителей, что обладание новейшими образцами одежды, мебели, автомобилей, стиральных машин, машин для мойки посуды, телевизоров и т д. служит самым надежным «символом статуса» (и самым действенным образом повышает кредитоспособность владельца).

Наихудшие воздействия мода производит, однако, в области естественных наук. Было бы большой ошибкой думать, что профессиональные ученые не затронуты болезнями культуры, составляющими предмет этой работы. Лишь представители прямо относящихся к этому наук, например экологи и психиатры, вообще замечают, что неладно что-то в виде Homo sapiens, но как раз эти ученые имеют крайне низкий статус в ранговом порядке, который нынешнее общественное мнение приписывает различным наукам, что превосходно изобразил недавно Джордж Гейлорд Симпсон в своей сатирической статье о «peck order» в сообществе наук. […]

Опасное модное индоктринирование науки, угрожающее отнять у человечества его последнюю опору, никогда не могло бы возникнуть, если бы ему не подготовили почву болезни культуры, рассмотренные в первых четырех главах. Перенаселение с неизбежно сопровождающими его потерей индивидуальности и унификацией; отчуждение от природы, отнимающее способность к благоговению; коммерческий бег человечества, наперегонки с самим собой, превращающий в утилитарном мышлении средство в самоцель, причем первоначальная цель забывается; и не в последнюю очередь всеобщее притупление чувства – все эти явления находят свое отражение в процессах дегуманизации наук; они не следствия этих процессов, а их причины.

*Глава 9. Ядерное оружие*

Если сравнить угрозу атомного оружия с воздействиями на человечество семи других смертных грехов, то трудно не прийти к заключению, что из всех восьми этого греха избежать легче всего. Конечно, дурак или нераспознанный психопат может пробраться с пусковой кнопке; конечно, простая авария на стороне противника может быть ошибочно принята за нападение и вызвать чудовищное несчастье. Но можно, по крайней мере, ясно и определенно сказать, что надо делать против «бомбы»: надо ее попросту не изготавливать или не сбрасывать. При невероятной коллективной глупости человечества добиться этого довольно трудно. Но что касается других опасностей, то даже те, кто их ясно видит, не знают, что можно против них предпринять. В отношении несбрасывания атомной бомбы я настроен более оптимистически, чем относительно семи других смертных грехов.

Величайший вред, который ядерная угроза уже сейчас причиняет человечеству и который остается даже в самом благоприятном случае, состоит в том, что оно создает общее «настроение конца света». Проявления безответственного и инфантильного стремления к немедленному удовлетворению примитивных желаний и сопровождающая их неспособность к ответственности за сколько-нибудь отдаленное будущее все это, несомненно, связано с тем, что подсознательно в основе всех решения лежит жуткий вопрос, как долго еще простоит наш мир.

*Лоренц, К. Восемь смертных грехов / К. Лоренц // Оборотная сторона зеркала [Сб.раб.]; пер. с нем. А.И. Федорова, Г.Ф. Швейника, сост. и ред. А.В. Гладкого. – М.: Республика, 1998.*